

Andrei Mironov, interview with Philip Boobbyer, Caux-sur-Montreux July 1995.
Transcript in Russian and summary in English.

Часть 1

АМ: [...] Поскольку зашла речь о роли совести в распаде Советского Союза, то не худо бы вспомнить роль совести в образовании Советского Союза, а именно, точнее сказать, в том процессе, который привел к господству коммунистической идеи в России. Именно он привел к образованию Советского Союза. (inaud. 00.30) Вот что интересно, я очень много думал о том, почему люди вступают в партию. В конце концов, марксизм-ленинизм это чрезвычайно скучная жизнь. И Герберт Уэллс был прав, когда он говорил, что учение Маркса так же скучно своим изобилием, как его борода. Действительно, эта книга очень скучная.

ФБ: (смеется)

АМ: Ясно, что они не могли привлекать людей, вызывать какой-то энтузиазм... Людей что-то заставляло вступать в коммунистическую партию, как до революции, так и после, и вовсе не обязательно это был прямой конформизм. Я думаю, что партия обладает одним замечательным свойством: она позволяет отречься от своей собственной совести. Партия – это *часть*, в переводе. Именно выделение части из целого, из общества, позволяет так решить, что, да, это вот они решают, кто-то за меня решил, я не несу ответственность за свои решения, за свои поступки, даже если я кого-то убью...

ФБ: Это фактор недостатка совести в создании Советского Союза?

АМ: Да, это фактор, фактор вот какой: людям совесть всегда тяжела. Вот у Сартра есть такая пьеса *Мухи*. После того, как я её прочитал, я бросил читать Сартра. Это было отвратительно. Мухи – это аллегорический образ, означающий муки совести, и героем является тот, кто избавляет людей от мук совести, кто прогоняет этих отвратительных, назойливых мух. И вот коммунисты и явились такими героями. Коммунистическая идея позволила избавиться от собственной стоимости многим. Конечно, это тоже определенного рода нравственный надлом, это тоже не так легко – убедить себя в том, что ты действительно не отвечаешь за свои поступки, что во имя какого-то дела, называемого великим – так легче поверить в него – ты можешь отказаться от совести. Вот есть стихотворение Багрицкого 20-х годов, того еще времени, когда Советский Союз...

ФБ: Багрицкого?

АМ: Да, Эдуарда Багрицкого: «Но если он скажет: "Солги",- солги. Но если он скажет: "Убей",- убей.» В этом стихотворении он призывает поступать так, как Дзержинский.

ФБ: Это он хвалит?

АМ: Хватит, конечно, что это здорово, потому что идея такая великая, что ради нее можно отбросить и совесть. На самом деле, нет ничего выше совести, и не может быть.

Так вот, на мой взгляд, идея коммунистическая, или есть другие подобные идеи, позволяющие отречься от совести, привлекательны именно для тех, для кого совесть тяжела. И люди могут быть поставлены в такие условия, когда от них требуется или пойти на какие-то чрезвычайно большие жертвы, или поступить против собственной совести. В таких случаях они начинают искать способы, даже подсознательно, уклониться от собственной стоимости, спрятаться за что-то. И вот такая ситуация историческая создалась во время Первой Мировой Войны: разного рода трудности и так далее... И люди стали вступать в партию [чтобы] просто спрятаться от совести, это ширма, за которую они прятались. Я даже предлагал когда-то такую игру, в музее, где я работал, перед арестом, я знал, что меня посадят... Я говорю, давайте переводить все слова до конца, переведем все иностранные слова, которые есть в русском языке. Переведем слово партия, это часть. Теперь переведем все сочетания, с которыми оно постоянно употребляется. У нас любят говорить, как положительный термин, партийная совесть – частичная совесть; все смеялись. Выходило как шутка, но на самом деле это глубже, потому что это *частичная* совесть, совесть, которая распространяется только на те области, где её позволяют. А где – нет, там – нет. Именно это делало возможным массовые убийства. (Поправляет микрофон)

ФБ: Расскажите немного о своем детстве, где Вы родились, какие были ценности в семье.

АМ: Да нет, ну я родился в Иркутске 31 Марта 1954-го года, на Байкале, 60 км от Байкала, если быть точным. Родители – геофизики оба, то есть специалисты по поискам нефти геофизическими методами. Ну что я могу сказать, странно, но факт: геофизика – довольно специфическая область, затрагивающая в том числе и совесть (смеется), это странно. Дело в том, что геологи – это интересная профессия, один из немногих оазисов свободы в Советском Союзе. Геологи работают в условиях Дикого Запада: маленький отряд 4-5 человек, где существование жёсткой иерархии невозможно, здесь возможна только демократия, и прямая демократия. Если начальник отказывается помогать вытаскивать машину из грязи, он не начальник, он не член этой группы. Его могут избить, если он плохо обращается с рабочими, и его шеф никогда ему этого не простит, он никогда не накажет рабочих, он выгонит начальника, потому что ему надо, чтобы люди работали и так далее. Вот такого рода Дикий Запад существовал у нас на 'Диком Востоке'.

А геофизики это наиболее интеллектуальная часть геологов. Например, в лагере, где был, было 30 политзаключенных, из них было 4 геофизика. Это тоже о чем-то говорит. То есть всё-таки люди выбирают профессию, потому что у них есть определенные качества или сама профессия способствует тому, чтобы у них развивались какие-то качества. Мои родители после войны заканчивали институты. Тогда, как ни странно, была некоторая свобода, которую быстро задавили; Померанц тоже, кстати, говорил об этом. Люди, вернувшиеся с войны, поверили в себя.

ФБ: Что?

АМ: Люди, вернувшиеся с войны, поверили в себя. Да, они стали уважать себя за то, что они победили, за то, что они воевали, и у них было дело, которое действительно

они считали нужным и важным. И, конечно, они не считали, что это заслуга Сталина, они-то точно знали, кто им что сделал хорошего и кто – что плохого. Они не приписывали другим, они не прятались. Но может быть, это тоже сыграло роль, потому что мои родители считали, что может быть коммунизм хорошая идея – они не вовлекались в политику; ну как всеобщее счастье – это же хорошо, что всеобщее счастье...

ФБ: (смеётся)

АМ: ... но совершенно очевидно для них было, что было бы бессовестно вступать в партию. Я помню, как они говорили на кухне про моего младшего брата, который, когда ему было лет 5 или 6, сделал что-то плохое во дворе, что-то не дал кому-то, конфет может быть, я не знаю... И моя мама сказала отцу: «Ну вот, если дело так дальше пойдёт, то может кончиться тем, что он вступит в партию, когда вырастет». Но обычно так родители говорят...

ФБ: (смеётся)

АМ: Да, именно так и было (смеётся), может и бандитом стать... Потому что более худшего и грязного они не могли себе представить. Ведь все люди, которые из их экспедиций геологических, вступали в партию, делали это либо по наивности – это ещё ничего, это нормально, но на них всерьёз не смотрели – несерьезные люди, но во многих случаях и когда им нужна была карьера, и они не могли добиться этого, благодаря своим способностям. То есть, конечно, отношение к этим людям было не лучшим. То есть членство в партии было явно неприличным.

ФБ: То есть Вы воспитывались без уважения к коммунизму, без уважения к партии?

АМ: Да, партию, безусловно, я не уважал, а коммунизм, это немножко другое. Это, когда я стал старше, когда стал уже задумываться над связью вещей, я довольно быстро пришёл к выводу, что действительно это неотделимо одно от другого.

ФБ: Мне интересен процесс воспитания, как появилась Ваша совесть, какие были ценности.

АМ: Ну конечно, ценности закладываются в самом раннем возрасте. На самом-то деле в России, в Советском Союзе, всегда существовало, в Советском Союзе именно, огромное противоречие между моралью внутри семьи и в личном общении, и моралью государственной. Вот, и это я хорошо помню. Дома, например, ну мораль такая же, как и в западных семьях. Достаточно сказать, что большинство сказок, которые мне читали в детстве, это немецкие сказки или сказки, собранные в Германии, пришедшие туда с Востока или из других стран. Ну, то есть [мораль] европейская, в плане начала. И это гораздо важнее, чем чтение энциклопедии в зрелом возрасте – слушание сказок в том возрасте, когда дети ещё не умеют читать. Потому что мораль формируется именно тогда и во многом закладывается именно теми сказками и самим фактом, что родители их выбирают и читают. Поэтому, когда люди Запада пытаются

оценить, в чем же разница между ними и людьми с Востока, то здесь следует делать различия: личная мораль человека и мораль общества, в котором он живет.

ФБ: Вы потом жили в Иркутске?

АМ: Нет, меня в 5-ти возрасте оттуда увезли в Белоруссию – всё время ездили, потом в Удмуртию; я всё время путешествовал.

ФБ: Где Вы были, когда пошли в школу?

АМ: Я ходил в школу в разных местах, постоянно я возвращался только под Москву, но там я не ходил в школу. Ходил в школу я и в Удмуртии, и в Белоруссии, начинал Белоруссии, заканчивал в Удмуртии.

ФБ: Вы тоже хотели стать геологом?

АМ: Нет, нет, у меня не было желания стать геологом. Когда мне было 6 лет и меня спрашивали, кем ты хочешь быть, я говорил палеонтологом. Людей это ставило в тупик, как правило, большинство не знали, что это такое. Тогда не показывали в фильмов о динозаврах и тому подобное. А я собирал окаменелые раковины... Но это мне было 6 лет, это вот как дети летчиками хотят стать или там ещё что... А я хотел стать химиком, меня интересовала теория неорганических реакций, то есть теоретическая химия. Ну и если говорить о воспитании, то, поскольку родители занимались инженерной работой, но близкой к научной, то я думаю, что такого рода работа сама по себе требует определенной внутренней честности. Потому что если человек ищет научную истину, он не может кривить душой, иначе он ничего не найдет. Это подтверждается косвенно тем фактом, что среди диссидентов большинство как раз люди, занимающиеся естественными науками.

ФБ: Да, я знаю.

АМ: Вот. Ну и родители, видимо, к такому же кругу принадлежали.

(Запись прервана)

ФБ: Вы учились в институте физики?

АМ: Нет, я учился, совсем немного, но это было в менделеевском институте.

ФБ: Как и Никита, в 74-м году?

АМ: Да, как и Никита, вместе с Никитой. Я только поступил туда и в следующем году оттуда ушёл.

ФБ: Почему, что случилось?

АМ: Ушёл я не потому, что мне не нравилась химия, а просто меня к тому времени очень сильно начало задевать, что то, что я вижу вокруг себя, меня совсем не устраивает, в обществе. Трудно было переносить постоянное вранье, и было такое внутреннее напряжение. Я бы с удовольствием продолжал заниматься химией, меня это гораздо больше интересовало, чем всё остальное. Но у меня было ощущение, что я делаю что-то не то: вот нельзя сидеть в горящем доме и сочинять стихи. Потому что я был, например, в армии, видел, что там делается с людьми и что об этом обществе ничего открыто нельзя сказать. Я имею ввиду армию как механизм для воспитания у молодых людей рабского самосознания. Очень важно для репродукции советского общества понять этот механизм, что армия в Советском Союзе это совсем не то, что на Западе, это тотальное всеобщая обработка молодежи. В этом, я думаю, её главная роль, а военная роль второстепенна.

Ну и другие были вещи, которые накапливались, вопросы, которые накапливались, я не мог дать на них ответы. Я помню, что я принес домой в трехлетнем возрасте в Иркутске кандалы – во дворе лежала огромная гора кандалов, новеньких – ручные цепи, связанные с ножными. Я спросил, это что, для собаки? Мне сказали, нет, для человека. И отец потом рассказывал, когда я был уже постарше, что он проезжал однажды 150 км или больше на машине, несколько сот километров, вдоль строящейся железной дороги. И там работали люди в кандалах, через каждые 3 километра был лагерь.

ФБ: Это где?

АМ: Это было в Восточной Сибири. Это 52-й год, половина двадцатого века и люди, закованные в цепи, что-то строят.

ФБ: Сколько Вам было лет, когда он Вам это рассказал?

АМ: Я не помню, но я еще учился в школе, может быть 14 лет, может быть сколько-то... И постоянно возникали такие разговоры, то там, то здесь всегда оставалось что-то неясное.

ФБ: Через родителей Вы стали понимать, что что-то было не в порядке?

АМ: Ну не только через родителей, но, по крайней мере, внутри семьи важно подчеркнуть то, что мораль в каждой семье отличалась от общественной морали: в школе говорили одно, а дома – другое. Например, когда заходила речь о Сахарове – 68-й год, мне было 14 лет – стали говорить официально, что он плохой, что это враг и так далее... А дома, опять же, родители, говоря между собой, что Сахаров прав, с глубоким уважением о нём отзывались. И мне было приятно знать, что вот, конечно, есть много лжи, но есть кто-то, кто имеет смелость этому возражать. Это очень важно. Значит, возможно вообще иметь другую позицию. Ну, трудно анализировать собственный характер...

ФБ: Когда Вы поступили в институт, какие у Вас на тот момент были социальные и политические взгляды? Они были оформлены?

АМ: Они были, конечно, не до конца оформлены, и вряд ли они когда-то вполне оформляются, но, по крайней мере, совершенно ясным было то, что я никак не мог примириться с тем, что происходит вокруг меня, что я всё больше и больше видел фальшь этого.

ФБ: Но почему Вы так реагировали, а не какой-то другой человек?

АМ: Почему? Не только я. Например, Никита точно так же реагировал.

ФБ: Да, но таких людей мало.

АМ: Ну видимо есть какие-то защитные механизмы... И потом я больше видел – это тоже важно. Я больше видел контрастов, я ведь самых малых лет путешествовал. Самые первые впечатление моего детства это полеты на вертолете, например. Или я приезжаю в деревню, где страшная нищета, я вижу, как люди там живут, потом я Новый Год праздную в Доме Писателей в Москве, где самые знаменитые писатели страны собираются – это совершенно другая атмосфера. Вот. То есть я имел какую-то возможность больше видеть мир.

ФБ: И никогда не принимали официального взгляда?

АМ: Нет, я принимал, конечно, и официальный взгляд общества в той мере, в какой это возможно для ребенка. То есть я вступал в пионеры, например, когда мне было 10 лет. Я считал, что, да, это хорошо, раз все говорят, что это хорошо. Имя Ленина, например, было просто символом совершенного человека. Пока я не знал действительного положения вещей, я брал это на веру. Потом я начал сомневаться в себе, что я не понимаю, почему Ленин, такой великий, умный... Я пытался читать его книги и находил там одни ругательства, обращенные к никому не известным [тогда] людям. Когда я стал пытаться выяснять, кто были эти люди, которых ругает Ленин, никакого ответа я не находил. Затем, когда я стал старше, я докопался до каких-то старинных книг, запрещенных, касающихся как раз религиозной философии, это были книги Бердяева, например, Булгакова, того же Франка... Я сразу увидел колоссальную разницу: в одном случае это действительно мысль, эта позиция, с которой [...]

ФБ: Когда Вы начали это читать?

АМ: Ну это уже было позднее, было очень трудно найти эти книги.

ФБ: Уже после института?

АМ: Нет, это было как раз когда мне было лет 17, 18, 19, 20 лет... Нет, в 19 лет я был в армии, там ничего невозможно было читать. Я пытался и раньше искать эти книги, но не мог. Когда мне было 20 лет, я получил хоть какой-то доступ к ним. Достоевский здесь повлиял очень [...]

ФБ: Расскажите о своем опыте в армии.

АМ: Нет, для меня конечно... Я думаю, что если бы я не был в армии, я все равно имел бы примерно те же взгляды. Скорее этот опыт отрицательный, он скорее повредил, чем помог, потому что он заставил меня слишком сконцентрироваться на каких-то более узких проблемах. Например, Никита не был в армии. И тем не менее, он имеет вполне сходные взгляды с моими. То есть я был явно предрасположен к тому, каков я сейчас. Армия не открыла собственно ничего нового, но позволила лишь подтвердить, проиллюстрировать то, что я мог предполагать. Я бы не сказал, что этот опыт сильно изменил мой характер. Просто это потерянные 2 года, это борьба какая-то за сохранение собственной личности, это трата душевных сил и физических. Я не думаю, что это существенно обогатило – духовный багаж, скорее наоборот. Но армия – это просто опыт отрицательный, это опыт того, как плохо унижение человека, это специальная машина для унижения человека, вот что такое Советская Армия.

ФБ: Еще раз, почему Вы ушли из института?

АМ: Ну потому, что я чувствовал какую-то фальшь в том, что я делаю, несмотря на то, что я очень любил химию, именно теорию, науку – мне казалось это интересным. Но с другой стороны, я видел, что происходит, что-то ужасное. Когда над людьми вот так издеваются, когда такая ложь, нужно пытаться хотя бы понять, откуда она идет, и что-то сделать для того, чтобы ее уменьшить, насколько я могу. Еще будучи в армии изолированным, фактически от нормальной жизни, я пришел к выводу, что единственный путь – это искать правду, то есть искать книги какие-то, где можно её найти и также помогать всем, кто тоже хочет найти какую-то истину. Даже если я с этим не вполне согласен, я должен способствовать всем искать там, где они хотят и то, что они хотят; своим друзьям. Так и получалось, впоследствии я именно этим и занимался. То есть мы находили какие-то книги, находили способ их тайно копировать, что было очень трудно в тех условиях. Обычно это делалось на секретных предприятиях, между прочим. Это было легче, как ни странно, там было меньше контроля политического, было больше контроль за шпионажем, но никто в шпионаж всерьез не верил, поэтому на самом деле мало было контроля (смеется).

ФБ: Чем Вы занимались в эти годы?

АМ: В эти годы я занимался тем, что перепечатывал, распространял разные запрещенные книги, самые разнообразные. Это были, например, книги по религиозной философии – одна часть, довольно большая. Другая – это книги, такие как Шаламов, например. Ну понятно что такое Шаламов, это книги о ГУЛАГе, но это литература. Другое – поиск исторических книг, как Авторханов, анализ исторический. Либо же даже художественные книги, как Оруэлл. Эти книги упоминаются в моем приговоре потом. Ну и тоже был определённый круг людей, интересных для меня, и которые находили интересным общение со мной. Ну, то есть это была нормальная такая среда для молодежи того времени, ну учащейся молодёжи, я бы сказал, так было можно бы определить.

ФБ: Как Вы финансировали себя?

АМ: Ну я имел иногда какую-то работу, я устраивался работать по чужим документам, по документам Никиты, в частности (смеется). Долгое время я не работал и кое-как жил. То есть очень трудно было, потому что запрещалось работать без прописки, а получить прописку в Москве, где только и можно было найти эти книги... Искал я не только книги, но вообще какую-либо правду, то есть пытаюсь связать те явления, которые я вижу вокруг себя, а для этого нужно было что-то кроме официально-доступного.

А вопрос, почему других это меньше затрагивало, а меня больше? Ну это связано просто с воспитанием, определенным нравственным воспитанием, с одной стороны. А с другой, тем, что я все-таки имел гораздо больший доступ к информации. Например, я не могу судить равно себя и карманного вора, который сидел со мной в камере и выполнял задания тюремной администрации, то есть по воле КГБ – ему приказали говорить на суде против меня, рассказывать всякие глупости о моих антисоветских настроениях. Этот человек воровал с 14-ти лет, с 14-ти лет сидел в тюрьме. Из своих 43-х лет он просидел 29 лет в тюрьме. На свободе был 4 раза и никогда больше 4-х недель подряд: 1-2-3-4 недели, всё – 8 недель за 29 лет. Конечно, я не могу его морально осуждать так же как себя за какие-то проступки, потому что его опыт – это один опыт: у него не было родителей практически, они не занимались его воспитанием. У меня были родители, нормальные условия в семье и больше того: я получал больше, чем в среднем мои товарищи, поскольку было больше книг дома, больше путешествий, больше возможностей для того, чтобы видеть.

Я думаю, что именно сочетание вот этих 2-х факторов воспитания и доступа к информации, оно как раз сыграло роль в формировании характера в конечном счете. Если я бы чего-то не знал, я бы мог позволить себе спокойно заниматься чем-то другим. Но я не мог этого не знать, это было слишком открыто для меня. А с другой стороны я не мог соврать самому себе и сказать, что это всё ерунда и нечего обращать внимания, нужно, например, делать деньги или идти в партию делать карьеру. Не знаю, это трудно понять, в общем-то почему...

ФБ: Когда Вы распространяли эти книги, это было рискованно. Как Вы справлялись с напряженностью?

АМ: Конечно, это был всегда риск. Я первый раз понял, что меня обязательно посадят в тюрьму в 78-м году, когда мне было 24 года. Однажды меня задержали КГБ-шники на выставке книг иностранных. А у меня с собой были книги Ким Ир Сена, какая-то дрянь, но она мне была интересна как исторический материал. Это очень было интересно, потому что корейская пропаганда выглядела карикатурой на советскую; журнал *Корея* расхватывали в киосках сразу же и смеялись потом над фразами типа «Великий вождь Ким Ир Сен – отец всех корейских детей» и так далее. У меня эти книги отобрали. И КГБ-шники посмотрели, что это ну вроде бы несерьезно, корейская пропаганда; милиционеры отдали меня в милицию, там что-то сказали... А начальник милиции оказался человеком порядочным, пожилой был такой милиционер, он не имел, конечно, отношения к КГБ, он мне сказал: “Вам нужно изменить свой характер, иначе Вас рано или поздно посадят в тюрьму”. Он больше ничего не сказал и отпустил меня. Но меня это оскорбило: как это, почему я должен менять свой характер,

переделываться как-то? Ведь тогда не я буду жить, а кто-то будет жить мою жизнь, если я буду делать то, что нужно другим. В те же 70-е годы появилась песня, в которой были такие слова: «Я читаю, что надо читать, потому что это надо тебе. Я смотрю, что надо смотреть, потому что это надо тебе. Но когда ты будешь тонуть, я не буду тебя спасать. Я буду топить, я буду топить...» Это была тоже запрещённая песня, Никита собирал (смеется). Это абстрактно – тебе, кому, непонятно – такой силе, которая заставляет тебя быть не самим собой. Я понял тогда, какой же мне выбор предстоит: действительно изменить свой характер – я не могу, я нахожу это унижительным. Как у Киплинга – в детстве мне читали сказки Киплинга часто, я любил это – рассказ о мангусте *Рикки Тикки Тави*. Там был такой персонаж крыса Чучундра, которая всё время ходила вдоль стенки, боялась выйти на середину и потом жаловалась мангусту, что ей стыдно за то, что она такая ничтожная, слабая, что она боится выйти на середину. А вот мангуст выходил на середину. Мне очень нравился этот характер мангуста, что это маленький зверёк, но бесстрашный, что он может убить даже опасную змею, что он защищает других... То есть это такой был персонаж благородства, и в противоположность этому была трусость. Но у Киплинга нет презрения к трусости, нет чёрствости и жестокости. Он сочувствует этой крысе тоже, что этот [персонаж] слабый, его нужно пожалеть и посочувствовать ему, нельзя его презирать. Нужно просто сделать то, что он не может сделать.

Я тоже не хотел, мне стыдно было быть крысой, мне хотелось выйти на середину в конце концов, то есть жить по-человечески. Вот когда сегодня говорили о гражданском обществе, здоровом, я был крайне удивлен тем, что никто словом не сказал о правах человека, о движении за права человека. Ведь это же как раз диссиденты, это те, кто пытался жить свободно в несвободном обществе. Только так и может зародиться гражданское общество. Как зарождается кристалл? Начинается его рост с маленьких точек. Так же зарождается и общество. В целом, сразу общество не может перемениться.

ФБ: Мне хотелось бы узнать, как действовала Ваша совесть, были ли какие-то внутренние конфликты?

АМ: Ну вот как действовала моя совесть... Нет, конечно, были внутренние конфликты. Например, что я не работаю или мало работаю, что когда-то мне родители вынуждены были присылать деньги. В какое-то время мне это было, конечно, очень неприятно. А с другой стороны, если я просто буду жить как все, я не смогу этого терпеть, потому что я должен что-то делать, чтобы преодолеть внутреннюю фальшь. Ведь если я не пытаюсь бороться с внешней фальшью, она тут же проникает в меня – это то, что в этой пьесе было... По-английски: *to give up [is] to give in*. Вот я не хотел этого *give in and give up*...

ФБ: Но искушения наверное были?

АМ: Искушения, конечно, всегда были какие-то, но гораздо [...]

ФБ: Были ли какие-то моменты когда Вы, может быть, хотели сказать «Ну всё, я принимаю»?

АМ: Нет, я не мог, такого не было, потому что это было отвратительно. Но были случаи давления. Не было того, что я не переходил этот барьер, что я приму. Я думал о том, может быть можно это принять? Я пытался искать возможность, но я всегда натыкался на какой-то барьер. Я никогда даже не допускал мысли. Например, когда меня судили, я сидел уже под следствием в тюрьме и оказывалось крайне жёсткое давление, пытки были – то, что прямо называется пытками, не фигурально. Была, например, имитация повешения, когда я потерял сознание в петле. Я не знал, меня вынут из этой петли или нет, мне сказали: “Мы тебя убиваем. Всё”.

ФБ: Это было когда?

АМ: Это было, когда я был в тюрьме уже, после ареста в 85-м году. Вот. В 86-м даже, в начале это происходило, но... На суде был очень интересный момент, когда я понял, что внутренние сомнения были и были очень глубокие, но я просто боялся это осознать. Я не допускал некоторых мыслей, подавлял мысли, это тоже нехорошо делать.

ФБ: Сомнения в том, что Вы были правы?

АМ: Нет, не в том, что я был прав, а сомнения в том, что может быть мне следует сдаться как-то или уступить в чем-то. Когда на суде меня спросили, признаете ли вы себя виновным – это ключевой вопрос, я сказал «нет», в этот момент я почувствовал невероятное облегчение. Хотя перед этим, за полсекунды, я был уверен, что я, конечно, скажу «нет», не может быть, чтобы я сказал «да». Но поскольку облегчение было очень сильным, это значит, что было колоссальное внутреннее напряжение – было искушение сказать «да», поддаться...

ФБ: Это очень интересно.

АМ: Вот именно это... То есть сознательно, я никогда не приходил к решению сделать что-то дурное. Но подсознательно, безусловно, искушение это было очень велико; я это всегда давил в себе. Например, вот часто недооценивается роль подсознательного. То есть подсознательно, может быть, всякий человек готов на подлости, на любое преступление и на любую подлость может быть даже. Но, по-моему, гораздо больше силы духа нужно для того, чтобы осознать это и преодолеть себя осознанно, чем давить подсознательно. Ну вот мне не доставало, конечно, чтобы все это осознать как следует. Но тем не менее, я [...]

ФБ: Расскажите немного, Вас арестовали в 85-м году, годы до этого, какими они были?

АМ: Годы до этого были отвратительными.

ФБ: Чем Вы занимались?

АМ: Я занимался только вот этим, я кое-где работал – я же не мог иметь приличную работу – то в булочной грузчиком, то ещё что-нибудь, то в геологических экспедициях... Это было гораздо лучше, это была среда для меня привычная и просто

морально гораздо легче, потому что там были люди, с которыми легче иметь дело, которые не признавали, в общем-то, порядков, немножко склонные к свободе, но достаточно для того, чтобы никто из моих коллег меня не предал во время допросов. Это было замечательно, потому что очень много людей со мной работали. Несколько десятков подвергались допросам, и никто меня не предал, ни один. Это важно, потому что это значит, что я правильно выбрал среду, в которой я был: там были простые рабочие, студенты, геологи, ни один человек не совершил предательства, не пошел на поводу у КГБ. Многие предали, но оттуда – никто.

Но для меня это не было основным содержанием жизни, это было только средством существования, основная задача была – искать правду, совместно с другими. То есть обмен книгами постоянно происходил, обмен мыслями какими-то. Я общался с иностранными студентами, потому что мне было интересно получить доступ к другой культуре. Не имея возможности путешествовать, я имел всё-таки возможность общаться с ними, я знал, что это гораздо больший риск, чем тайно печатать книги. Я освоил технику работы против КГБ – за 10 лет они не могли заметить, чем я занимаюсь. Это очень большое достижение, я считаю. Я понял тогда, в 78-м году, когда в первый раз беседовал с милиционером, что меня обязательно арестуют. Я оценил свое положение так: хорошо, я не буду менять свой характер, я уже знаю себя достаточно, что я не поменяю характер, я не хочу быть крысой, я буду презирать себя и, потеряв уважение к себе, я потеряю всё. Кстати, цель КГБ, цель пыток и всякого давления, психологического и физического, именно в том, чтобы заставить человека потерять к себе в уважение. Вот когда он говорит «я признаю себя виновным», а в душе он знает, что он лжёт, вот тогда он теряет уважение к себе, теряет веру в себя. А потеряв веру в себя, он отдает им, власти, возможность манипулировать собой, он верит в *них*, потому что они – та сила, которая заставила его потерять уважением, он уважает их с тех пор. Именно это... Это, кстати, не мое открытие, это можно найти в книге *Пятая Печать*.

ФБ: **Буковский** тоже рассказывал точно так...

АМ: Есть книга одного венгерского писателя, она называется *Пятая Печать*. Это библейский термин, the fifth seal – это из откровения Иоанна, о механизме воздействия на человека; вот именно о таком механизме. Золтан Фабри, знаменитый режиссёр, сделал прекрасный фильм, один из 20 лучших фильмов в мировой истории, который тоже имеет такое название. Вот я советую посмотреть фильм или прочитать книгу, если она есть на английском, должна быть... Я забыл автора, очень трудная венгерская фамилия. (Sánta Ferenc)

ФБ: Когда Вас арестовали...

АМ: В 85-м меня арестовали.

ФБ: ... в каком городе это было и что они сказали, за антисоветскую агитацию?

АМ: Интересно, что когда меня арестовали, не только я, но и мои родители были готовы к этому. Когда утром рано в 6 часов позвонили, мама сразу сказала, что это КГБ.

Это было в Ижевске. Сначала они выгнали меня из Москвы (Ижевска?), под конвоем направили в Москву. До этого в течение года постоянно не менее 12-ти агентов КГБ круглые сутки за мной следили: ночью они стояли около двери, меняясь через каждые 4 часа; днём они ездили за мной и ходили по 4 человека, 3 группы по 4, которых можно было постоянно видеть. Меня это удивляло, потому что 72 человека, только тех, кого я мог увидеть и плюс еще кто-то, работали в течение года – 72 человека в день для того, чтобы следить за мной. Я же не Сахаров. Меня ещё раз поразило тогда безумное устройство этого государства, на что тратятся усилия и средства? Ведь на эти деньги можно было улучшить жизнь кому-то и избежать недовольства, если бы это было разумное руководство, пусть даже тоталитарное. Ну так вот.

ФБ: Значит, арестовали Вас...

АМ: Меня арестовали, и я сидел под следствием 11 месяцев, в тюрьме.

ФБ: Это было довольно тяжело.

АМ: Да, это было хуже, чем в лагере потом, потому что там специально были заключенные, которые сотрудничают с администрацией, в лагерной терминологии – козлы, которых посадили, чтобы оказывать на меня давление, иногда физически, иногда психологически, были разные люди, и засылались специально.

ФБ: В течение этих 11-ти месяцев, были ли какие-то моменты, которые затрагивали Вашу совесть?

АМ: Ну да, был для меня очень интересный момент, который меня крайне удивил, то есть я обнаружил качество, которое я в себе не знал. Однажды, когда меня вешали – то есть душили, полотенцем петлю делали и душили.

ФБ: Душили полотенцем?

АМ: Вот так (показывает), на горло петлю...

ФБ: Веревкой?

АМ: Нет, из полотенца делали жгут, потому что веревок там не было. Они делали верёвку из полотенца и душили так. Я почувствовал, что я теряю сознание и, конечно, я не знал, действительно меня убивают или нет.

ФБ: Вы боялись.

АМ: До определенного момента... Вдруг я обнаружил, что во-первых куда-то страх пропал. Да, вдруг я обнаружил, что уже душат, я уже теряю сознание, и в голове мелькали такие мысли: так, я сделал всё, физически сопротивлялся – было бы стыдно не сопротивляться, но если меня сейчас задушат – всё, они могут отнять мою жизнь, но мою душу отнять не могут. И больше того, они – это не те, кто меня душил, я вдруг обнаружил с огромным удивлением, что у меня нет никакой злобы по отношению к человеку, который затягивает эту петлю, вот сейчас.

ФБ: У Вас не было никакой злобы?

АМ: Абсолютно! Да, это был человек, который 20 лет сидел в тюрьме, и ему было всего 38 лет – [он сидел] с 18-ти лет. Вот. Я его не мог судить, как себя. Что я думал, что он – несчастный человек.

ФБ: Он был представителем администрации?

АМ: Он был не представителем, он был уголовный преступник, осужденный за грабеж последний раз, до этого – за воровство. Но в отличие от меня, его сломали духовно. То есть я понял, что вот они могут отнять мое тело, но в душу не могут проникнуть. А он сломался, он не выдержал, он слабее меня, потому что он сотрудничает с ними – он поддался. И я чувствовал, что он слабый, а я сильный, несмотря на то, что меня держали вдвоём и убивали, как они говорили.

ФБ: В тот момент Вы почувствовали свободу...

АМ: Да, именно. Я чувствовал свободу. Вот как у Толстого Пьер Безухов смеялся: «*Что они могут сделать с моей душой?*» Вот так и я чувствовал, что с моей душой КГБ ничего сделать не может, они сломали этого человека, он – несчастный. Я очень был удивлен тем, что у меня не было никакого недоброго чувства, было сожаление, сочувствие, вот как у Киплинга к той крысе.

ФБ: Вы воспринимали свою душу как бы (inaud. 40.50)

АМ: Да.

ФБ: Вы верили.

АМ: Да.

ФБ: Всю жизнь верили?

АМ: Нет, вот когда мне было 27 лет, я осознал, что я верю, что Бог есть, его не может не быть и что как это [...]

ФБ: В интеллектуальном смысле?

АМ: Нет, не совсем, потому что я читал к тому времени много книг. В тот момент я читал книгу Соловьева *Три Разговора*, я ехал в электричке. Это было в электричке переполненной, под Москвой. И это осознание вдруг пришло, потому что на самом деле этот процесс осознания, он не интеллектуальный только, он на самом деле может быть даже и рациональный – это не осознание, а какое-то *вчувствование*. Я не верю, что это чисто рациональный процесс. Мне что-то открылось, потому что накапливаются какие-то жизненные факты и переживания; может быть даже не столько важны факты, сколько переживания. Я сомневаюсь, что можно чисто интеллектуальным путём прийти к вере. Я не думаю, что здесь есть большая связь.

ФБ: Вы почувствовали близость Бога?

АМ: Да, конечно, это же чисто религиозные переживания в общем-то. Ведь слово *религия* – его я тоже переводил, не только слово *партия* – это восстановление связи, связь – *лига* – *ре-лигия*; или связывание, связывание заново.

ФБ: Вы почувствовали связь внутри себя с высшей силой.

АМ: Конечно. Конечно, я видел, что против меня действует сила заведомо слабая: что может этот несчастный человек, который фактически потерял свою душу, по крайней мере, в данный момент, сделать мне, когда я чувствую цельность свою со всем справедливым, со всем, что можно назвать... Ну я не считаю, что вот я, например, ближе к Богу, чем он и так далее. Нет, я чувствовал, что я поступаю правильно, и не было раскола между моими действиями и моими побуждениями. А этот раскол раньше был постоянно, это давило меня, что я вынужден смиряться с тем, что происходит, со злом. Если я считаю это злом, значит, я должен противодействовать. И я должен быть уверен, что я сделал всё, что только я могу, искать сделать больше. И тогда был момент: ну что, я сделал всё, что я мог, может быть мало, да, но я сделал, что я мог. И у меня было ощущение внутренней цельности, а внутренняя цельность и есть, наверное, то, что можно [назвать] чувством соединения с Богом, со всеобщим, потому что [...]

ФБ: До этого момента Вы думали, что нужно что-то сделать чтобы достичь этой цельности, но в тот момент Вы почувствовали, что может быть уже достаточно сделали...

АМ: Нет, я не думал, что достаточно, но поскольку я терял сознание... Я не знал, снимут эту петлю с меня или на самом деле задушат, ведь я проходил все стадии, которые проходит тот человек, которого убивают, вешают – ведь сознание потеряно, всё, я же не знаю, живу я или нет, правда? Вот. Но получив такой опыт, я понял, что они мне ничего не могут сделать. Они уже использовали всё. Может быть это даже высокомерно, но я сразу увидел, кто из нас сильнее. Я сильнее, конечно. А кто же еще? Если они не могут проникнуть в мою душу, я их туда не пускаю, тело могут отнять, да, но ведь они тоже не вечные, и я не вечен. Не важно – *сколько* прожить, а важно – *как*. В конце концов, все люди рано или поздно умирают, а о них судят не по количеству лет, которые они прожили, а по тому *как* они жили, и судят не другие только люди. А вот я уверен, что я в данный момент поступаю правильно и в очень важный момент. Вот это чувство цельности дает. И до этого, и после, конечно, всегда были моменты, когда я понимал, что я поступаю неправильно. Но вот в тот момент я чувствовал себя морально очень хорошо. Именно в тот момент, когда имитировали моё убийство.

ФБ: Значит, Вы сидели 11 месяцев и потом Вам сказали, что Вы виновны.

АМ: Нет, они сказали, что я был виновным через 7 месяцев, а после этого почему-то я еще 4 месяца сидел в тюрьме, в одиночной камере. Причем интересно то, что на меня это одиночество не производило никакого угнетающего действия. Я был доволен, что я сижу один. Это, между прочим, очень интересное психологическое явление: люди с

бедным внутренним миром, с бедной внутренней жизнью, малообразованные или же просто не привыкшие думать, не привыкшие к самостоятельности, крайне тяжело переносят одиночество. А люди с БОльшим внутренним багажом – гораздо легче. Это очень странно. Иногда может показаться, что это наоборот. Ну так вот я спокойно просидел 4 месяца в одиночке и был очень доволен, что со мной больше никого нет в камере. Ну потому что они надо мной издевались все время и не только поэтому. Конечно, есть свои отрицательные стороны, когда нет информации (inaud. 46.40) (смеется).

ФБ: (смеется).

АМ: Потом меня перевели политический лагерь.

ФБ: Это было в Удмуртии тоже?

АМ: Нет, лагерь находился не в Удмуртии, лагерь находился в Мордовии. Вот. И я обнаружил, что там у меня гораздо больше свободы, чем было до моего ареста, потому что там мог [...]

(Конец первой части)

Часть 2

АМ: Больше или меньше свободы – это, конечно, относительно. Явно, что в тюрьме было отвратительно, в лагере, даже когда меня ещё не сажали в ШИЗО (штрафной изолятор). Хотя я был чемпионом по сидению в лагере, по сидению в ШИЗО – вперёд моего пребывания там, я сидел больше всех. Ощущение несвободы, конечно, было, мы видим многое, мы понимаем много, но мы ничего не можем сделать. Это было стыдно – сидеть в лагере, стыдно, как солдату стыдно попасть в плен. Если он знает, что он должен воевать, а вот он сидит в плену – это отвратительно. Я чувствовал, что я не прав, что я, например, может быть не убежал за границу, надо было убежать и оттуда продолжать что-то делать. Потому что я вижу, как это отвратительно, и нужно пытаться сделать всё, что возможно. Я понимал, что я не могу очень много сделать, но если я не буду делать ничего, вот это было бы неправильно. Я должен был сделать столько, сколько я могу, даже пусть очень мало. Вот. Иначе я бы не уважал себя, я бы чувствовал себя крысой Чучудрой. Вот это был основной мотив всех моих действий. Вообще считаю, что диссидентство, как это на Западе называют, или правозащитное движение, это ни в коем случае не политическое явление, а сугубо нравственное. Не только [...]

ФБ: Значит были моменты, когда Вы даже в чувствовали внутри, что были виноваты, что не сделали больше чтобы распространить [...]

АМ: Безусловно. Конечно, я чувствовал себя виноватым. И когда я не сидел, я тоже себя чувствовал в некоторой степени виноватым. Я мог чувствовать удовлетворение только когда, например, очередную партию книг удалось раздать тем, кто так жадно их хотел. И я считал, сколько человек прочитает эту книгу за год, сколько человек прочитало мои книги... Вот, хорошо, хорошо! Пусть эти люди, теперь они будут

сильнее, они будут думать, они будут действовать, они тоже будут меняться... И постепенно правды будет больше и больше.

ФБ: И это было чувство вины?

АМ: Да, это постоянное чувство вины было.

ФБ: Это настоящая вина или фальшивая?

АМ: Нет, она настоящая. Ни в коем случае не фальшивая. Это, безусловно, настоящая вина, потому что я не должен был допускать тех ошибок, за которые платят другие. Потом, когда освободился, а часть моих друзей оставалось в тюрьмах, я тоже чувствовал вину, что я-то на свободе, и у меня огромные возможности, я могу многое сделать... Кстати, когда я приезжал сюда, в (inaud. 02.40), моя единственная цель была, и в поездках за границу, только помощь этим людям, больше ничего. Я здесь, в (inaud. 02.45), искал контакты, которые позволили бы мне сделать это, или даже не сейчас сделать прямо, а потом использовать эти контакты, когда понадобится; то есть на будущее сделать сеть такую, которая бы включалась. Иногда это помогало. Я чувствовал удовлетворение только в тот момент, когда, скажем, после года работы – обычно это было больше года, чтобы освободить одного человека, абсолютно никому не известного, сделать известным, заставить писать о нём газеты, потом президентам США, Франции или, скажем, премьер-министру Великобритании сказать это, произнести его имя и добиваться освобождения, такое удавалось редко, но удавалось – в этот момент я чувствовал, что что-то сдвинулось. Но в то же время я вспоминал, сколько еще людей, вспоминал, что один человек умер, потому что я, зная о его существовании ничего не сделал для того, чтобы его освободить. Я не понял, что это важнее, чем другие... Поэтому всегда было чувство вины.

Но вместе с тем было еще ложное чувство, безответственность по отношению к другим людям. Я мог легко и просто отказаться от общения с людьми, не отвечать ни на одно письмо, прекращать общение со многим. Потому что каждый день я знакомился более чем с 20 разными людьми, новыми от 20-ти до 30-ти. Физиология мозга такова, что человек не может запомнить больше, совсем: ни имени, ни лица он не будет помнить. Это очень много, нагрузка огромная. И вот я позволял себе полностью прекратить все контакты, которые не имели отношения к этой моей возбужденной деятельности. Она была невероятно лихорадочна. Я просыпался без будильника, потому что звонили рано утром, может быть в 6 часов, а засыпал после последнего звонка. Как люди узнавали мое имя – это уже особые цепочки, механизмы, потому что я был свободным и, более того, я был привилегированным. Мне дали почётную 70-ю статью. Это все равно, что рыцарский титул. Человек, который осужден был по этой статье, а потом освобожден при крайне щекотливых обстоятельствах для советского правительства, под условием, что, не дай Бог, вы арестуете снова, тогда мы вам не поверим и денег не дадим. На грани краха стояло государство, они нас боялись арестовать. Я стал священной коровой. У меня было огромное преимущество: если кого-то сажали совершенно неизвестного человека, я знал, что если капля информации о нем просочится во внешний мир, его перестанут пытаться. А если – нет, то будут. Значит, я буду виноват. Может быть, он умрет, и я буду виноват. Я снимал трубку телефона,

делал 2 звонка, один в посольство какое-то, например. На следующий день я уже был в этом посольстве, или в тот же день. Говорил обычно со 2-м по рангу дипломатом после посла. Например, если я хотел, чтобы президент Франции это знал, на другой день информация ложилась к нему на стол. Мне достаточно было сказать, как меня зовут и по какой статье был осужден.

ФБ: Когда началось это чувство вины? До ареста?

АМ: Ну оно началось давно. Конечно, задолго до ареста. Может быть ещё вполне в юношеском возрасте, когда мне ещё и 20-ти лет не было, я ведь... Ну, у каждого человека появляется такое чувство, что вот он делает что-то не то, что нужно. Как у Достоевского, у того же, в *Бесах*, Ставрогин старший говорит в конце романа: «Я всю жизнь свою лгал, даже тогда, когда говорил правду». Это то же самое чувство вины, но он был слабым человеком и не смог никаких конкретных выводов сделать для себя из этого – в этом его трагедия. Вот.

Кстати, вот я говорю теперь уже о ложном, о том, что я делал неправильно после ареста, когда казалось бы я делал такое, помогал кому-то, что-то делал реальное для людей. В то же время я позволил себе полностью отгородиться от нормальных человеческих чувств, от всего, что не имело отношения к помощи тем, кто оставался в тюрьмах. Вдруг я заметил, что вот в данный момент, например, никакая моя помощь никому не нужна, но я так привык к этой свободе от всяких обязательств, простых обязательств жизни, что я мог полностью позволить себе относиться к другим, ну как сказать, не то, что безответственно, как это сформулировать получше (пауза), ну даже пренебрежительно. То есть я, конечно, себя лишаю нормальной жизни, но в то же время я не имел права пренебрегать другими людьми под предлогом того, что я должен полностью сосредоточиться, вот как монах на молитве, я должен сосредоточиться на какой-то конкретной деятельности, для успокоения своей совести. Да, я своею совестью вполне этим успокаиваю, если я чего-то добиваюсь, на какой-то момент. Но я делал в это же время и зло. Не только добро. То есть это была такая, если не уверенность, то какое-то ложное эйфорическое чувство (смеется). Это тоже неправильно, нельзя быть слишком жестким праведником что ли. Нельзя поверить в свою праведность, никогда. И нельзя найти он такого универсального способа поступать правильно в жизни, нельзя. Даже если ты делаешь что-то очень важное. Это довольно, ну не знаю, мне кажется, мне не удастся здесь ясно сказать то, что я хотел бы... Это тоже важно.

ФБ: Если бы я сказал, что советская система – злая, Вы бы согласились?

АМ: Да, конечно.

ФБ: Как Вы понимаете зло и добро?

АМ: Я думаю, что зло и добро связаны с понятиями лжи и правды прежде всего. И здесь следует уже перенести тогда вопрос в иную плоскость – что есть истина? Как известно, ответа на этот вопрос нет и не может быть, для человека. Истина настолько велика, истина в связи всего со всем, а ложь в разделении. Дьявол есть разделяющий,

Бог есть объединяющий. В этом смысле истина в Боге. Бог же не является прямо. Вот Христос как говорил: «Я был в тюрьме, и вы пришли ко мне». «Что вы сделаете одному из малых сих, вы делаете и мне». То есть я не верю в непосредственный контакт с Богом при том, что человек, который общается с Богом, полностью отгораживается от окружающих его людей. «Как ты поступаешь к ближнему своему, так ты поступаешь и ко мне» – так он сказал.

И зло – есть зло, которое делаешь ближнему, а добро – есть добро, которое ты делаешь ближнему, потому что это есть поступок сразу же по отношению к Богу, а не только к человеку конкретно. Ну вот поэтому, когда я говорил, что отгородившись от каких-то людей и сосредоточившись на том, что я считал важным, я совершал также и зло, потому что я делал *им* зло, каким-то окружающим меня людям. Ведь не всегда была такая напряжённость. На самом деле, если не было в данный момент никого конкретного, кому я должен помогать... Вот бывало так, что всё решают какие-то часы: будет жить человек или он умрет там от истощения от голодовки, или нужно сразу же звонить Сахарову и устраивать мировой скандал, тогда я должен действительно бросить всё. Или вот сейчас кого-то арестовывают, я должен быстро дать информацию газеты. А в других случаях, я просто создавал сеть разных контактов по всему миру, многократные связи, чтобы тайным образом передавать информацию из Советского Союза. Скажем, мне нужно связаться с Папой Римским, я нахожу способ связаться с Папой Римским – это было так. Вот. И нужно много каналов: есть 2 – мало, нужно 3 или 5, чтобы перережут один – другой использовать. И пока я подготавливаю всё это, я имею право полностью отрицать всякие попытки других людей как-то обратиться ко мне ну просто хотя бы из чисто личных соображений, из чисто человеческих... И я считаю, ну раз это не имеет отношения к защите кого-либо – столько людей сидят в тюрьмах – значит всё, я не отвечаю на письма, на звонки, не прихожу на какие-то встречи... Вот. Это тоже зло. Это самооправдание, ложное.

Нет характеристики зла исчерпывающей, так же как нет [характеристики] добра полной. Естественно, это никому не по силам, и всегда должно оставаться сомнение. Оно вдруг приходит самым неожиданным образом, когда ты считаешь, что ты совершенно прав. В 91-м году я был почти в таком состоянии, когда я был больше всего доволен собой. И в этот момент я обнаружил, что на самом деле всё далеко не так, что я далеко не прав. Я переступил какие-то границы, которые не должен был переступать. Я всегда должен переоценивать себя. И религия, именно *ре*-лигия, а не просто 'лигия', потому что связи всегда рвутся с Богом. Они всегда рвутся. Нельзя их создать и забыть, создать и забыть, как сетку, которую вяжешь. Она будет прорываться в разных местах, и нужно снова и снова её чинить как-то. Этот процесс, ну как в организме одни клетки умирают, другие рождаются – это жизнь. И нужно всегда как бы ремонтировать свою душу. Она изнашивается. И никто не может быть уверенным, что раз он сделал когда-то что-то правильное, то это так навсегда и останется, ничего подобного. И нет таких заслуг, которые позволили бы человеку успокоиться, никогда.

ФБ: Расскажите еще немного о совести.

АМ: О совести? Ну я не знаю, об этом можно говорить много и долго, и бесконечно. Когда вот поговорим, конечно, обнаружится, что еще что-то хотел бы сказать,

но... Ведь совесть – это основное, вообще. Если анализировать русское значение, слова совесть и так же латинское – ну английское это с латинского идёт – то это *so-vestь*. Или *conscience* – по-итальянски это ближе к латинскому – *coscienza* (итал.), то есть как бы совместное знание. То есть совесть открыта принципиально, и совесть означает связь одной души с другими душами. Совесть не замкнута в одном сознании никогда, в одной душе. А поскольку это связь всего со всем, с Богом – нельзя же исчерпать Бога и нельзя же исчерпать всё. Тот, кто понимает, всегда должен быть больше того, что он понимает, но не может человек быть больше всего остального, всей вселенной. Поэтому тема эта безгранична.

И скажем, вот почему мне нравится Достоевский, потому что героями его романов является совесть. Именно совесть, которая в разных ипостасях предстает то в одном характере, то в другом, как бы переливается из одного в другой. Есть люди, которым тяжело читать Достоевского. Я замечал, что это именно те люди, ну не все конечно, но люди, избегающие совести, скажем, активные члены партии или КГБ.

ФБ: Не любили читать Достоевского?

АМ: Да, они... Не только не любили читать, дело не в Достоевском только. Вообще, есть вещи, которых они избегали и избегают, это видно. Ну, не знаю, это очень трудно сформулировать. Очень много можно говорить о совести, бесконечно, потому что совесть – это всё. Так же как Бог – это всё. Вот часть... Вот разделение, почему дьявол разделяет? Он отрубает вот эти связи одной души с другой, и с Богом соответственно. Вот. Это противоположно совести. Мне нравится высказывание одного католического теолога современного, я не помню, кто это, он сказал, что, когда мне говорят, что нет Бога – это не так меня страшит, но меня очень пугает, когда мне говорят, что не верят в дьявола (смеется). Вот.

Совесть... Очень много можно говорить... Разрушение Советского Союза... Не знаю, ну всё наверное [...]

(Конец интервью)

English summary.

This is a condensed summary, in the first person, not an exact translation.

You should not forget the role of conscience in the formation of the Soviet Union. The party had one distinctive advantage: it allowed people to distance themselves from their own consciences. It allowed others to take responsibility for their own decisions. Conscience is something alive. Sartre has a play called 'Flies', which I take as an allegory for conscience. And the hero is the one who liberates humanity from the flies of conscience. So the communist idea is heroic in the sense that it liberates people from the lies of conscience.

There is a poem of the 1920s by Bagritsky: 'Kill, kill, lie, lie'. There is a term 'the party conscience'. But it is stupid because it is a partial conscience, because it allows for mass murder.

I was born in Irkutsk in 1954. My parents were geophysicists. Geology was one of the oases of freedom within the USSR. They worked in a kind of wild West where you have a small group and a person is a person. And it is impossible to maintain a strict hierarchy there – you have to have democracy of a direct form. If the boss refuses to haul the machine out of the mud, he is no longer a boss. They are also an intellectual bunch. For example, in my camp there were thirty political prisoners of whom there were four geophysicists. People would choose such a profession because it would allow them to develop certain qualities. My parents returned from the war, and like others they returned with a belief in themselves. They started to respect themselves because they had been the victors, because they had conquered, because they had achieved something. And, of course, they did not consider this as Stalin's achievement.

My parents were not against communism as a general ideal, but it was obvious to them that it was against their conscience to go into the party. I remember my mother saying when my brother did something wrong when he was five years' old that the matter could escalate until he would go into the Party. They could not imagine anything worse. It was only later when I started to reflect on the connection of things that I saw that communism and the Party were connected.

Of course, in Soviet society there has always been a difference between the morality within a person and a family and morality on a state level. For example, the majority of short stories I read when I was a child were German, or at least put together in German and sent in through Eastern countries – so my views were based on European principles. That is something very different from reading an encyclopedia in mature life. Because much is absorbed. The very fact that parents read these things out is important. So it is important to distinguish between the morality of a society and the morality of an individual.

I was rarely based in one place when I was brought up. I went to school in Udmurtia and in Belorussia. When I was asked what I wanted to be when I was six years' old, I said a paleontologist. My parents' work involved engineering of certain kinds: I think that work of that kind demands a certain kind of inner honesty. If a person searches for scientific truth,

he cannot distort his soul. It is a notable fact that among the dissidents, most of them were engaged with the natural sciences. And my parents, I would say, belonged to such a group.

I studied in the Mendeleev Institute. I went there in 1974 and left a year later. I left because I began to feel uneasy with everything around me. It was difficult to endure the constant dishonesty. And I felt an inner tension. I would like to have continued with chemistry rather than anything else, but I felt there was something not quite right. I had been in the army and seen what was being done to people there, and felt it was impossible to talk about it openly. The army was being used to create a slave mentality amongst young people. It was important to understand this: the army was something very different from what it was in the West – it was total and complete reworking of young people. That was its primary role; the military role was secondary.

Other questions accumulated for me. I remember bringing home some handcuffs with knives when I was a young man in Irkutsk, asking if they were for dogs, and being told that they were told that they were for people. And later my father told me how he had been driving a hundred or so kilometres away and had come across people working in these shackles. Every three kilometres or so there was a camp. It was Eastern Siberia and 1952. We had conversations about these things.

It wasn't like this only in my own family. In every family there was something similar. At school one thing was put out, and at home another. I was fourteen years' old when I got hold of Sakharov's speech, and my parents spoke of him with the greatest respect. And I was glad to know that although there were a lot of lies, they were also those who had the courage to object to it. In other words, it was possible to have another position.

The key element in my mind in 1974 was my inability to come to terms with the regime I was living in. I kept seeing the falseness of it all. I had seen a lot in the country by that time, many contrasts. I had seen a village where there was terrible poverty. I had experienced a New Year's evening with writers etc, with a very different atmosphere.

At the Pioneers, I accepted on trust what was said about Lenin's greatness. But when I started reading his work, I encountered there only curses of unknown people. I asked myself whom these people were and what their replies were but did not get any answers.

Then when I was older, I came across books by older religious authors on religious philosophy: Berdiaev, Bulgakov, Frank etc. It was when I was about twenty that I started to get hold of these books. Dostoevsky was very influential. I don't think it was the army which focused my view. Nikita Petrov, who had exactly the same views, was not in the army. But the army, as it were, confirmed what I had already assumed. The army was a machine specifically for the humiliation of man. I came to the conclusion that I should search for books and help others also to search for the truth. I distributed books of religious philosophy, history, Shalamov, artistic books. I found people with similar interests.

For a while I did not formally have work, because I needed a pass to work in Moscow.

I first realised that I would end up in jail in 1978 when I was 24. I was told by a man that I would end up in jail if I did not change my character. But I didn't want to stop being myself. Rudyard Kipling short stories. I wanted to live as a human being rather than as a snake. Dissidents were those who tried to live freely in a non-free society: that is the way a civil society is created.

There were inner conflicts. It was difficult not to be working when my parents needed money. I felt that I needed to do something in order to overcome the inner falsity. If I didn't attempt to fight against the exterior falseness, it would start to penetrate me. I did search for ways of accepting the system, but I always came up against some kind of barrier.

I was in prison under charges for some time and was literally tortured. There was, for example, an imitation hanging when I lost consciousness. That was after I was arrested in 1986. At the trial I had doubts which I tried not to address, hidden away, doubts over whether I would give way or not. I was asked the question whether I was guilty or not. This turned out to be a crucial question. I said no. At that moment, I felt an unbelievable sense of relief. I felt that I would say 'no', but the colossal inner relief witnesses to the existence of some kind of inner struggle. Consciously I had not considered giving way, but unconsciously I had been under great pressure. Unconsciously anybody can be capable of anything. I think it is much harder to conquer consciously than unconsciously.

The years before my arrest were difficult. From my geological friends, no one betrayed me. My main task was to search for truth. I do not want to be a rat. I didn't want to despise myself. The whole aim of the KGB was to get you to lose confidence in yourself. Confessing yourself to be guilty when you are not leads to the decline in belief in yourself. And losing belief in yourself means that you give others the power to manipulate you. There is the book by a Hungarian writer, Fifth Seal, which touches on this. Fabbri made a brilliant film on this issue.

I was arrested in 1985. It was not a surprise either for me or my parents. When they knocked at 6.00 am, my mother said it was the KGB. Prior to that, I had been followed around Moscow by about twelve men, twenty-four hours a day. Three groups of four. Imagine the waste of energy! I was eleven months under investigation. It was worse than later in the camp. There was psychological and physical pressure. There was a moment which surprised me a great deal. I found in myself a quality I had not been aware of. At one point I was being suffocated with towels. They made a rope with a towel and put it around my throat. I sensed that I was losing consciousness and I did not know if I was genuinely about to die or not. I said that they might be able to take away my life, but that they would not be able to take away my soul. I also realised that I felt no hostility to the man who was doing this act. He himself had been in jail since he was seventeen and was not thirty-seven. He had originally been a real criminal. Spiritually he had broken. I realised that they could take my body but not my soul. He was weaker than me because he was working with them. I felt freedom. Like Pierre Bezukhov. What can they do with my soul? I felt great compassion for this person.

When I was 27 years old, I realised that God existed and could not not exist. I was on the electric chair at the time, reading Solov'ev's 'Three Conversations'. It was part of a process of becoming aware. It was not exclusively rational. It was a kind of falling into a situation. I don't believe it is a purely rational process. It was a religious experience, a restoration of connections.

I realized that the force I was dealing with was weaker than I. I sensed something which had not been there before, that there was no gap between my behavior and my motives. And there had previously been a division. Previously I was continually in a state of conflict feeling I had to come to terms with what was happening. I had always had that feeling that I should do more to fight against evil. I was in that intermediary state when you do not know if you are dying or not. At that moment I sensed that I could not have done more. And I had a feeling of inner integrity. And a feeling of integrity is what one calls a feeling of unity with God or the absolute. It may seem arrogant, but I sensed who was stronger. I was stronger. Of course there have been other moments when I have sensed I wasn't doing the right thing, but at that moment I sensed the rightness of it all. I felt myself morally ok specifically at that moment when they were imitating my murder.

I was four months in solitary confinement. I was quite happy in those four months. It is people with a poorly developed inner life who find it difficult to endure loneliness.

Then I was sent to a political camp in Mordovia. There was greater freedom than before my arrest. Obviously, it was unpleasant, and while I was there I was a champion at spending time in the Shizh. It was shameful to be there like it is shameful for a soldier to be a prisoner: he cannot do anything. I continued to feel that I had to do something. I would not respect myself. It was the basic motive of my behaviour. I felt continually guilt while I was in jail for not having done more. And when I was not in jail I also felt a certain guilt. I only felt happy when I was giving out books to those who were in need. I would ask myself: how many people have got hold of those books in a year? They are stronger for it. They will inform other people and bit by bit the truth will grow greater and greater. This was not a false guilt, but a real guilt. When I was out of jail, and my friends remained, I felt the guilt of needing to use the possibilities available to me.

I felt pleasure after a long campaign, through Western leaders, when we managed to get someone out.

At the same time, there were false feelings of irresponsibility to other people, not bothering to answer letters etc. Because every day I would meet twenty new people. I broke many contacts. I was free and I was also privileged. I became a holy cow. I lost the human element, became almost scornful. I was a false feeling of euphoria. It is wrong to be too strictly right. It is a form of self-justification. In 1991, I became satisfied with myself; I crossed a border I should not cross. I must always reexamine myself.

Good and evil are linked to the concepts of truth and lies. There is no human answer to the question: What is truth? Truth links everything together. Evil divides it up. God is approached through our relationships to the people around us. One has to create and forget constantly. One has to constantly repair one's soul.

Sovest' in its Russian meaning implies combined knowledge. Conscience opens the link with another person. It is not closed it opens to God. It is a link with another. It is a limitless theme. It is conscience which is seen in Dostoevsky's novels. Active members of the Party

Could not endure Dostoevsky's works. Conscience is everything. The Devil divides: this is the opposite of conscience.